**КЛОУН**

Кто в стремительной и бесшабашной юности своей не задавался вопросом: а что это за чудо такое – любовь? Ровесницы-девчонки строчили в дневниках: «Любовь – это роза, красивая, но колючая». Лично я искал ответ у поэтов и находил совсем не то, что искал: «Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем…» Но шокировала меня в этом произведении концовка, мол, «дай вам Бог любимой быть другим». Сознание зависало, мой быстрый на расправу процессор скрипел и отказывался давать вразумительный ответ на вопрос: «Зачем своей любимой желать любви другого пацана?!» Были и иные авторы, более конкретные и по-хозяйски деловитые, которые писали: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне…», но далее опять пугали, мол, «всё будет – слякоть и пороша…», и несли прочую муть, наподобие девчачьей болтовни о розах и шипах. И что? И где ответ?   
По прочтении этих и иных не менее туманных сентенций вопрос оставался открытым, ответ блуждал в потёмках неразберихи вечно запутанных отношений между мужчиной и женщиной.

В студенчестве я раз пять был влюблён, то есть отточил свой характер до ловеласного. А в руки стали попадаться книги, в которых анатомия любви представлялась или в заоблачных просторах романтических грёз и фантазий, или в грешных коридорах пошлости и цинизма. Ответа, который мог бы утолить мой пылко пытливый и въедливо дотошный ум, категорически не было.

Легче дело обстояло с понятием любви к маме, папе, бабушке и другим ещё живым родственникам. С Родиной и патриотическими чувствами тоже всё обстояло более или менее опредёленно и достаточно аккуратно было уложено в моей, тогда ещё вихрастой голове. Но вот я ознакомился с Новым Заветом, в котором чёрным по белому было написано: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Понять эту заповедь мой здравомыслящий   
мозг отказался сразу. По улице ходили, спешили, бродили люди, высокие и низкие, худые и толстые, но причём здесь я?! – рационально думал я.   
И с чего их всех вдруг необходимо любить?! Я этого понять не мог.

Потом я прожил много лет и, как все люди на этой грешной земле, страдал и радовался, терял и находил, предавал и был предан, лгал и был оболган, влюблялся и даже счастливо женился, но и после всех этих передряг я так и не смог разъяснить, даже самому себе, что же это такое – любовь.

Но вот недавно я вдруг и совершенно беспричинно, после звонка мамы, вспомнил случай, который никогда не обсуждался и потому, наверное, и не вспоминался. И тот мамин звонок не был связан ни с моими мыслями о любви, ни с тем далёким случаем из детства. Но вот отчего-то слова, интонации, настроение и непогода за окном отправили меня   
в ассоциативный путь, который увёл в чащу давно позабытых дней.

Мне исполнилось тринадцать, когда младшую сестру Нелю положили в больницу на операцию. Я, кажется, всегда знал, что она больна, но вот так ясно и вдруг предельно отчётливо подступившую опасность понял только теперь. Я понял, нет, я её почувствовал всем телом, всею душою, всей интуицией и сознанием, что есть смерть, реальная и жестокая, что она – смерть – то самое явление, которое не подвластно никому на земле. И я понял, что смерть сильнее жизни.

Учился я с тем рачительным расчётом, чтобы не доводить отношения с мамой до грубых разборок, чтобы моё прилежание и поведение не нарушали спокойствие завуча школы, готового в любой момент назначить свидание в кабинете директора. Кроме обязательной программы, которой потчевала наша средняя общеобразовательная школа за номером двадцать два, была любимая, но произвольная программа – я четыре раза в неделю посещал акробатическую секцию на стадионе «Спартак». В шестом классе я лихо прыгал и был изрядно ловок, и однажды в школе на спор спустился по лестничному пролёту на руках со второго этажа под восторженные аплодисменты сотни школьников, которые чуть позже сделались честными свидетелями этого события в кабинете у завуча по воспитательной работе. Я был унижен и прославлен одновременно.

К Нельке в больницу в Академгородок я ездил в свободные от тренировок дни. В кардиологическое детское отделение передачки не принимались, свидания были запрещены, видимо, как я теперь понимаю,   
с профилактической целью – не допустить в отделение заразу типа гриппа или какую другую гадость. Я выходил на остановке «Строитель»   
и через десять минут путешествия по вековому бору оказывался возле клиники, обегал двухэтажное здание с тыльной стороны, на которую выходили окна больничных палат с приклеенными к стеклу листочками, на которых взволнованным почерком были нарисованы номера. Я лепил снежок, запускал его в цифру пятнадцать, и в окне возникала чья-нибудь голова, а потом появлялась медлительная Нелька. Она, как и все жители этого отделения, синела остриженной наголо круглой головой и смотрела на меня, сидя на подоконнике. Я топтался под соснами, взмахивал руками, пытаясь что-то рассказать, – кричать было бесполезно, нас наглухо разъединяли двойные рамы окон. Потом мне изрядно надоело топтаться без толку на заячьей тропе, проторённой редкими прохожими, и я начал вытаптывать на снегу гигантские буквы её имени. Я вяз в сугробах, падал, а Нелька сидела на подоконнике и смеялась. И я вдруг понял, что надо делать. Нужно веселить сестрёнку! И тут же принялся изображать неловкого художника, который рисовал её имя на снегу. Я неуклюже падал в снег, выскакивал на тропинку, рассматривая своё произведение, а в самом конце забрался на толстую разлапистую сосну и прыгнул   
в снег, выдавив своим щуплым телом восклицательный знак в конце уже завершённого произведения. Когда я поднял голову, то увидел, что около Нельки сидят ещё девчонки, такие же стриженые и весёлые. Они беззвучно хлопали в ладоши, и была среди них одна, почти моя ровесница, её круглую голову также украшали маленькие ушки и большие глаза. Но вот эти глаза и ушки мне показались самыми красивыми в мире.   
Я никогда и предположить не мог, что стриженная наголо девочка может быть такой обворожительной. Не надо даже сомневаться! Я влюбился   
в неё мгновенно, когда ещё валялся в позе восклицательного знака.

Уже в следующий свой приезд, когда рядом с Нелькой в окне появились все девчонки, я смело подошёл к вытоптанному на снегу имени сестры, сначала показал на него пальцем, а потом на красивую девочку и спросил: «Как тебя зовут?» Она поняла сразу, подышала на оконное стекло, которое тут же густо запотело, и написала своё имя. Я прочитал: Яна – и принялся вытаптывать его на снегу. Но дети застучали   
в окно, и девочка начала писать буквы отдельно, одну за другой, и получилось: Аня. Я понял, что мне надо было читать не слева направо, как мы привыкли, а наоборот, справа налево, как в зеркальном отражении. Имя Аня мне очень понравилось, оно звучало в моём сердце хором небесных птиц, пока я вытаптывал на снегу её имя с особой тщательностью и клоунской сноровкой, кривляясь и падая.

Прошло несколько дней, и я вдруг заметил, что стоит мне ступить на тропинку, в окнах второго этажа, как по команде, появляются стриженые головы детей. Только в одном окне всегда было пусто, а когда там включался свет, мне было видно, что на потолке светилась огромная космическая тарелка.

Медсёстры и врачи не ругали меня и не гнали, хотя я приезжал после школьных уроков и мой приезд почти всегда приходился на тихий час в больнице. Это был важный знак признания моего скоморошества полезным и нужным делом. Я совсем осмелел, хотя и сам догадывался, что детям и до операции, и после было скучно и, наверное, страшно.   
Я освоил сосны, с которых умело и смело падал в глубокий снег, вновь забирался на них по-кошачьи ловко, разыгрывая очередной сюжет, который придумывал, пока ехал в Академгородок.

А потом вдруг в окне не появилась Аня. Я подошёл к её имени на снегу, показал на него пальцем и спросил Нельку: «Где?» Неля отстранилась от окна и провела рукой поперёк груди, и я понял, что Ане сделали операцию. Собственно, я знал, что это когда-нибудь случится,   
в клинике всем делали сложные и опасные операции, но я почему-то решил, что мой влюблённый рай продлится вечно.

В тот день я отрабатывал новую репризу, но мне было грустно. Нет, я не ленился, я честно работал, мотаясь по разлапистым ветвям сосен, но разыграл роль не влюблённой обезьяны, как смело задумал ранее, а обезьяны, потерявшей свою возлюбленную. И когда я сел на высокий сосновый сук, чтобы передохнуть, и увидел вытоптанные имена на снегу, мне почему-то подумалось, что вот придёт весна и эти самые любимые имена растают и утекут. Я разместился на ветке сосны, как мне казалось, по-обезьяньи, почёсывая бока и вытянув губы трубочкой, завыл. Дети смеялись, а я почему-то завыл по-настоящему, по-человечьи, по-обезьяньи не получилось.

Прошла неделя, а Аня всё не появлялась в окне, а я ждал. Я ждал встречи с нею, и даже стыдился, что сестра, наверное, уже догадывается   
о моей влюблённости. Но Аня всё не появлялась, и тогда я опять подошёл к её имени на снегу и спросил Нельку: «Где»? А Нелька неожиданно отстранилась от окна и скрестила руки на груди, потом, как приставучую муху, нечто смахнула с лица и смущённо улыбнулась. А я понял, что Анны больше нет, что она умерла.

Я забрался на дерево, сел на сук и смотрел то в небо, то в окна, где синели стриженые головы детей, больше похожие на диковинные растения, тянущиеся к уличному свету, смотрел на вытоптанные в снегу имена, на витиеватую каллиграфию имени Аня и назойливо и тоскливо думал, что вот имя человека есть, а человека уже нет! И в этом не было справедливости и смысла и не было элементарной и понятной честности, которую от нас требовали взрослые. Я понимал ложь происходящего, потому что жизнь, так получалось, есть то самое место, где требуют одно, а на самом деле происходит другое. И тогда, в тот самый момент, когда я, как всклокоченный и мокрый от растаявшего снега серый воробей, сидел на суку, совсем неожиданно выдохнулось из какого-то дремучего прошлого, со слезою и болью, и почему-то   
с жалостью к самому себе: «Господи! Как трудно жить!» И я уже точно знал, что веселить я не смогу, пусть дети не обижаются, пусть я плохой артист, но я не мог, потому что умерла Аня, самая красивая девочка   
в моей жизни, и изображать даже обезьянью тоску я не мог и не стал.

Я спрыгнул с сосны, помахал Нельке рукой, весь этаж махал мне, провожая грустно и удивлённо, но почему-то сдержанно и с каким-то пониманием. Я тогда ещё не знал, что дети, пережившие горе и боль, становятся мудрыми и понятливыми, как старики.

А я пошёл по заячьей тропе в бор, чтобы потом – на остановку, в автобус и домой, чтобы жить дальше, но без Ани, которая меня больше не ждала. И уже далеко в бору я сел в снег и дал волю слезам, и опять вырвалось, как стон, как проклятье: «Господи! Го-осподи-и! Почему же так трудно жить!»

Я очнулся, к моему плечу прикоснулись. Я поднял голову и увидел красивую стройную женщину.

– Зачем плачешь? – спросила она.

А мне показалось, что это сама смерть устыдилась своих дел, преобразилась и пожалела меня. Я вскочил и побежал прочь.

«Зачем плачешь?» – слышалось мне. Она спросила зачем, будто можно зачем-то плакать. Она не спросила почему, а сказала «зачем», будто плакать – это никчёмное, пустое и неважное дело...

А потом в окне не появилась Нелька. Я знал, что в этот день ей будут делать операцию. Мы приехали вместе с мамой. Мама осталась в больнице, а я побежал к больничному окну, надеясь, что Нельку ещё не увезли   
в операционную и я увижу её, махну ей рукой, сморщу нос и скорчу смешную рожицу. Но Нельки не было в окне, зато были дети, дети всего второго этажа, которые смотрели на меня, улыбались и ждали представления…

Я хотел уйти, но в Нелькиной палате я увидел маленькую девочку, послеоперационку, её посадила на подоконник и придерживала, наверное, нянечка или, может быть, её мама. Опухшие глаза девочки смотрели на меня с какой-то глубочайшей мудростью и ожиданием, и я понял, что мне просто уйти и обмануть эти глаза, этого маленького человека нельзя, не имею права, это хуже предательства. Сегодня я – её радость, её любимый клоун, которого она ждала. И она, верно, съела те ненавистные семь ложек каши, которые её заставляла есть нянечка, и… мне почему-то так придумалось, что пару ложек, самых последних и самых противных, она съела за меня – за дядю клоуна.

Я отработал свою программу, летал, как птица, по веткам сосен, потешно падал и опять взлетал с каким-то остервенением, особой лихостью и злобой, рисковал, совершая неимоверные трюки. Мне аплодировали все: и врачи, и медсёстры, и, конечно, дети. А девочка улыбалась, положив ладошку на стекло. А я пошёл к маме в приёмный покой, где мама ждала окончания операции. Я уходил от детей, уже точно зная, что через день приеду обязательно, я точно знал, что для них было важно, чтобы я приехал. И я приехал.

Уже вечером к нам с мамой вышел хирург. Он сел на стул в пустом, холодном и гулком холле первого этажа, руки безвольно лежали на коленях. Было видно, что он сильно устал. На мамины вопросы он отвечал односложно. Он говорил, что операция прошла удачно, что всё, что задумывалось, сделали. Что есть надежда на хороший результат. А я смотрел на его руки и думал, что вот эти руки только что держали сердце моей сестры, и я зачем-то пытался увидеть на них хоть капельку крови, но они были чистыми, и манжеты белого халата тоже были ослепительно чистыми. Потом мама задала неожиданный вопрос, наверно, оттого я запомнил его. Она спросила:

– Скажите, как долго проживёт моя дочь?

Хирург ответил сразу, будто и сам думал об этом, он сказал:

– До сорока лет... – замер на секунду и решительно кивнул, – до сорока доживёт.

Мама положила на его руку свою, как-то чуть сбоку, не для рукопожатия, а для чего-то иного, необычайно доверительного и благодарного, и слегка сжала её:

– Спасибо, – сказала она. – Большое спасибо.

Моя сестра жива и теперь, ей уже пятьдесят два года. Вы понимаете, о чём я? Я о том мальчишке, не о себе, а о том мальчишке, который прыгал по веткам, веселил детишек, чья жизнь висела на волоске и многие из которых не вернулись из операционной, потому что спасти их было практически невозможно, потому что в тот момент смерть была сильнее жизни. Я о том клоуне, который и сам-то был ребёнком, но каким-то чутьём понимал важность детских улыбок и дарил радость от всего своего пылкого и чуткого сердца. Он не знал и даже не думал о том, что он любит людей, он просто старался для них, как мог, как умел, как понимал и чувствовал в тот миг. И уставший хирург всякий раз, оперируя маленькое существо, которое ещё толком-то и не понимало, что такое жизнь, отдавал толику своей жизни. И не ради зарплаты он это делал, а потому что любил людей. Знал ли он об этом, думал ли – не знаю, навряд ли. Любовь – это чувство не от ума, а от сердца, из самой глубины человеческой души, это жертва, бескорыстная и счастливая, за-ради другого человека! И именно потому, что это жертва за-ради кого-то, она и названа таким красивым словом – любовь!

Значительно позже хирург стал знаменитым, и клиника благодарными людьми была названа его именем. А я вообще забыл про этот случай из моего далёкого детства. Но ведь я должен же был когда-нибудь понять, а что же это за чудо такое – любовь. Я понял и самое важное: да, смерть сильнее жизни, но любовь сильнее смерти! Понимаете это?! Понимаете? Любовь сильнее! Ведь когда я звоню сестре, то слышу   
в ответ: «Колечка, это ты, здравствуй, родной».